

Самуил Шварцбанд
СТИХОТВОРНЫЙ ОПЫТ А. С. ПУШКИНА

«Смешно, а правда...»

В 2006 г. В. М. Есипов опубликовал монографию «Пушкин в зеркале мифов», в которой он решительно предпринял ревизию сложившихся представлений о многих произведениях Пушкина, в том числе и о «Пророке»¹. Рецензии В. А. Кошелева² и В. С. Листова³ столь же решительно указали на предвзятость и ошибочность ряда положений ученого.

Так, в своей рецензии В. А. Кошелев справедливо писал: «Основную исходную «посылку» рассуждений автора книги можно принять: указанное четверостишие в основном составе сочинений Пушкина выглядит чужеродно. Но — опять-таки не стоило бы быть столь однозначным. О существовании какого-то «другого» стихотворения, похожего на пушкинского «Пророка», вспоминали, по крайней мере, пять современников... Но это обстоятельство еще более подтверждает серьезность самого факта». Впрочем, по мнению В. А. Кошелева, «весь комплекс «странностей» этой истории пока еще не получил адекватного объяснения. Но это отнюдь не означает, что истории этой не было...»⁴.

С рассуждениями В. А. Кошелева согласуется давнее мнение В. Э. Вацуру: «Нельзя считать случайным то обстоятельство, что именно из среды «Московского вестника» (Погодин, А. Веневитинов, Шевырев, Хомяков) идут сведения об антиправительственных стихах, привезенных Пушкиным из Михайловского и тесно связанных с за-

© Samuil Shvartsband, 2011 (Продолжение, начало см. TSQ 30, 31, 32, 33).

© TSQ 36. Spring 2011 (<http://www.utoronto.ca/tsq/>)

¹ В. М. Есипов. Пушкин в зеркале мифов. М., 2006.

² В. А. Кошелев. Королевство кривых зеркал. IN: Новое литературное обозрение. № 85 (2007), с. 416—421

³ В. С. Листов. Заветный вензель «У» да «Г». IN: Новый Мир, 2006, № 12.

⁴ См.: В. А. Кошелев. Королевство кривых зеркал, *ibid.*, с. 433.

мыслом «Пророка»⁵. Ряд критических замечаний В. А. Кошелева и В. С. Листова в адрес В. М. Есипова по поводу стихотворения «Пророк» я принимаю на свой счет тоже, поскольку некоторые важные историко-фактографические детали были в то время мною упущены⁶.

За десять лет до книги В. М. Есипова и рецензий на нее И. З. Сурат отметила, что «Пророк» был переделан и опубликован в 1828 г. в «Московском вестнике»; «Автографы его не сохранились...»⁷. А затем категорически утвердила: «Пророк» родился как «политическая лирика». К сожалению, никаких доказательств своей правоты И. З. Сурат не привела.

Если же следовать правилу Тацита «*Sine ira et studio*» (без гнева и пристрастия), то, по-видимому, наиболее объективно эту проблему изложил В. Э. Вацуру в комментариях к воспоминаниям М. П. Погодина «Квартира Пушкина в Москве» («Вот где он выронил... свое стихотворение на 14 декабря...»): «Рассказ о стихотворении на 14 декабря, якобы выроненном Пушкиным на лестнице дворца после аудиенции у Николая I (и потом, по возвращении в гостиницу, сожженном), впервые был сообщен в печати М. И. Семевским («Прогулка в Тригорское». — СПб. вед., 1866, № 163), усомнившимся в его истинности. Свидетельство Соболевского (в редакции Погодина) появилось в 1867 г. Со ссылкой на Соболевского его повторил П. А. Ефремов, добавив, что листок отыскан в квартире Соболевского после приезда Пушкина из дворца... Эту версию подтвердил А. П. Пятковский... Несомненно, в основе всех этих сообщений лежат реальные факты, однако подвергшиеся искажению при передаче (как и текст «концовки»); вопрос о редакциях стихотворения, соотношении с ними «концовки», ее тексте (в настоящем своем виде художественно беспомощном) и т. д. остается до сего времени открытым»⁸.

Однако современные интерпретации базируются, в основном, на изложенной мемуаристами «нетекстологической истории», о якобы первоначальной концовке стихотворения (см.: т. III/2, с. 1130). Более того, домыслы М. П. Погодина о некоем цикле («Пророк он написал, ехавши в Москву в 1826 году. Должны быть четыре стихотв.,

⁵ В. Э. Вацуру. Пушкин и общественно-литературное движение в период последекабрьской реакции. IN: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М. — Л., 1966, с. 214—215.

⁶ См.: S. Shvarzband. Еще раз о библейском источнике стихотворения «Пророк». IN: Jews and Slavs. Vol. 1. Jerusalem-St.Petersburg, 1993, pp. 176—187.

⁷ И. Сурат. «Твое пророческое слово...». IN: Новый мир. 1995, № 1, с. 236—239.

⁸ М. П. Погодин. Квартира Пушкина в Москве. IN: Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х т., *ibid.*, т. 2 (комментарии В. Э. Вацуру), с. 541—542.

первое только напечатано...»⁹) стали краеугольным камнем концепции М. А. Цявловского.

Свидетельства «шести лиц (С. А. Соболевского, А. В. Веневитинова, С. П. Шевырева, М. П. Погодина, А. С. Хомякова и П. В. Нащокина), бывших в тесном общении с Пушкиным по приезде его из Михайловского в сентябре 1826 года»¹⁰, воспринятые некритически исследователями, используются и по сей день в качестве аргументов в ряде многих работ.

Признаемся, нам неизвестно устройство «черного ящика» поэта: даны «*входящие*» сведения (его письма, письма к нему и его творческий опыт) и «*выходящие*» (опубликованный в 1828 г. текст «Пророка», мемории друзей и знакомых, а также дошедшие в их передаче строки).

Можем ли мы по «входящим» и по «выходящим» данным прийти к какому-нибудь *не политизированному*, а к филологическому решению? Мне кажется, можем.

Осмысление событий, связанных с высылкой из Одессы и перлюстрацией письма с сообщением о знакомстве с «англичанином-афестом», ссора с отцом и «домашний» надзор, чтение томов «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, знакомство с игуменом Успенского монастыря в Святых горах Ионой и священником села Воронич Л. Раевским-Шкодой, псковским архиереем Евгением и беседы с ними — вот некоторые важные моменты жизни Пушкина в с. Михайловском (август 1824 — сентябрь 1826 гг.). Стихотворный опыт Пушкина 1820—1825 гг., работа в 1823—1825 гг. над «Евгением Онегиным», «Подражаниями Корану» и антиромантической поэмой «Цыганы», размышления над трагедией «Борис Годунов» (1825 г.) и длившийся с 1820 г. по 1826 г. «почтовый роман» (Г. О. Винокур), — таковы только основные вехи творческой истории поэта.

При этом контекстные и подтекстные образы произведений Пушкина, знакомство с конфессиональным разнообразием жителей юга и постоянное самообразование во многом определили его поиск новых путей во всех жанрах.

В «Подражаниях Корану» Пушкин открыл для себя не Коран, а сущность свободы. Именно она препятствовала принять какую бы то ни было *служебную* роль для поэта (быть чьим-то пророком), поскольку, зная, что в Коране все речи принадлежат не пророку, он уподобил субъекта текста самому Творцу¹¹.

⁹ М. Цявловский. Заметки о Пушкине. IN: Звенья, *ibid.*, с. 155.

¹⁰ Б. В. Томашевский. Пушкин, *ibid.*, т. 2, с. 35.

Впрочем, и сама история обращения Пушкина к святым писаниям иудеев, христиан и мусульман так или иначе являлась историей его мировоззрения. Вспомним, что 9 апреля 1821 г. Пушкин записал слова П. И. Пестеля:

9 апреля, утро провел с Пестелем, умный человек во всем смысле этого слова. «Mon cœur est matérialiste, — говорит он, — mais ma raison s'y refuse»; мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч... Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...» (т. XII, с. 303).

«9 апреля. Утро провел с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова. «Mon cœur est matérialiste, — говорит он, — mais ma raison s'y refuse»; мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч... Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...» (т. XII, с. 303).

Не трудно заметить лингвистическое сходство конструкции П. И. Пестеля с уроками «умного афея» (из перлюстрированного письма Пушкина от апреля — первой половины мая 1824 г.), который исписал «листов 1000, чтобы доказать, «qu'il ne peut exister d'être intelligent, Créateur et régulateur, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души» (т. XIII, с. 92).

Так что временная дистанция в три года, разделяющая дневниковую запись и письмо, кажется, свидетельствует о двух крайних точках развития пушкинского мироощущения — «материалистическое» сердце в 1821 г. (по Пестелю) потребовало от ума системы «доказательств» в 1824 г. (по Хатчинсону). Обе крайние позиции, вероятно, определили и творческий опыт Пушкина: исходя из материальности чувства любви в 1821—1822 гг. он переосмысливал историю Евы и Марии в «Гавриилиаде», а затем, исходя из «слабости» доказательств «бессмертия души», — историю Магомета в 1822—1825 гг.

¹¹ Ф. П. Федоров замечательно написал: «Вдохновение — то максимальное средоточие духовности, которое порождает творческий акт и тем самым роднит человека с Господом (см.: Ф. П. Федоров. Голос лиры вдохновенной. Фрагменты. Daugavpils, 2009, с. 355).

Указывая «на картину пестрых истолкований»¹² цикла «Подражания Корану», все исследователи и критики от В. Г. Белинского и Б. В. Томашевского (П. В. Анненков, Л. И. Поливанов, Н. Н. Страхов, Н. И. Черняев¹³ и др.) писали об ассоциированном образе поэта и пророка и, тем самым, сужали художественный пафос пушкинского эксперимента. Эта же картина наблюдается и при интерпретации «Пророка»¹⁴. Отмечу, что в ситуации 1822 г. и после написания «кощунственной поэмы» синонимия «поэт-пророк» не только не была для Пушкина *проблемной*, т. е. требующей доказательств, но и провокативной, поскольку вся романтическая литература как раз исходила из этого утверждения *жреческого, пророческого характера гения*, представлявшегося героем произведений.

Об этом следовало напомнить, хотя бы потому, что еще в 1898 году Н. И. Черняев писал о «Пророке»: «Как бы там ни было, первый акт пушкинского Серафима можно с одинаковым основанием относить как к Магомету, так и к какому-нибудь библейскому пророку. Зато три остальных акта Серафима приводят к несомненному убеждению, что Пушкин черпал поэтические образы «Пророка» из мусульманских легенд о Магомете»¹⁵. Вл. Соловьев категорически отверг мнение Н. И. Черняева¹⁶, и с ним согласились многие. Правда, точка зрения Н. И. Черняева сегодня успешно реанимируется¹⁷. Но дело было не в этих, ясных для исследователей, подтекстах (книги Исаяи, Иезекииля, Иеремии и Коран), а в контекстах, которые приходится заново описывать, чтобы возратить художественный образ на ту почву, из которой он вырос: 1) «апокрифические» строки были *начальными или конечными*? 2) название стихотворения по списку 1827 г. «Великой скорбию томим» являлось *первичным* вариантом начальной строки *или нет*? 3) «синонимизировал» ли Пушкин печатное название «Пророк» с другими номинациям типа «Поэт», «Поэту» и т. д. или оно *противопоставлялось* им?

¹² Б. В. Томашевский. Пушкин, *ibid*, т. 2, с. 35.

¹³ П. В. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб, 1874, с. 304; Н. Н. Страхов. Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб., 1874, с. 48; Л. И. Поливанов. Комментарии. А. С. Пушкин. Сочинения: В 5-и тт. М, 1887, т. 2, с. 128–141; Н. И. Черняев. «Пророк» Пушкина в связи с его же «Подражаниями Корану» (отдельный оттиск). Харьков, 1898.

¹⁴ См.: С. М. Шварцбанд. А. С. Пушкин и некоторые проблемы текстологии (1820-е годы), *ibid*, с. 90–92.

¹⁵ Н. И. Черняев. «Пророк» Пушкина в связи с его же «Подражаниями Корану» (отдельный оттиск). Харьков, 1898, с. 28.

¹⁶ Вл. Соловьев. Собрание сочинений. В 10 тт. СПб., 1913, т. 9, с. 301–315.

¹⁷ См.: П. В. Алексеев. Стихотворение А. С. Пушкина «Пророк» в кораническом контексте (http://ec-dejavu.net/p-2/Pushkin_Prophet.html).

В конце ноября 1825 г. Пушкин написал письмо П. А. Вяземскому, в котором, обрадовавшись, что «W. Scott моего мнения» о «Дон-Жуане» Байрона, тут же привязал к этому одну «из невыгод ссылок» — «не имею способов учиться», и продолжил: «Грех гонителям моим! И я, как А. Шенье, могу ударить себя в голову и сказать: Il y avait quelque chose là... извини за эту поэтическую похвальбу» (т. XIII, с. 243).

Известие о смерти Александра I (19 ноября) в Таганроге «было получено в Петербурге в 12-м часу дня 27 ноября» (Н. Тархова, т. 2, прим. 51, с. 455).

Пушкин узнал о его смерти 30 ноября — 1 декабря в Новоржеве (Н. Тархова, т. 2, с. 100).

Зная о хлопотах друзей и просьбах матери о возвращении из ссылки, Пушкин после смерти императора и за десять дней до восстания декабристов написал П. А. Плетневу отчаянное письмо: «Милый, дело не до стихов — слушай в оба уха... Если брат, так брат — не то, что и совести марасть — ради Бога, не просить у царя позволения мне жить в Опочке или в Риге; черт ли в них? а просить о въезде в столицы, или о чужих краях... Душа! я пророк, ей-богу, пророк! Я «Андрея Шенье» велю напечатать церковными буквами во имя отца и сына etc.» (т. XIII, с. 248—249).

Так, «усваивая» титул «пророка» в контексте стихотворения «Андрей Шенье» (которое вскоре станет предметом тайного сыска), Пушкин подчеркивал возможные последствия ссылки: «...выписывайте меня... — а не то не я прочту вам трагедию свою» (т. XIII, с. 249).

Намек на возможную участь «русского Шенье» — очевиден.

Однако, понимая невозможность самовольного приезда в Петербург, Пушкин отказался от этого и почти на полтора месяца, прекратил всякую переписку.

Но, получив от П. А. Плетнева в январе 1826 г. пять экземпляров «Стихотворения Александра Пушкина» (вышли в свет 30 декабря 1825 года), он в конце января снова обратился к друзьям с просьбами походатайствовать о его возвращении из ссылки.

4 марта Пушкин в последний раз напомнил П. А. Плетневу о своем «титуле»: «Карамзин болен... Гнедич не умрет... Ты знаешь, что я пророк» (т. XIII, с. 264). Наконец, 7 марта 1826 г. он послал Жуковскому официальное письмо, т. е. для передачи властям (т. XIII, с. 265).

Политический календарь событий 1826 г. складывался для Пушкина не лучшим образом: на следствии многие бывшие друзья и знакомые свидетельствовали о популярности пушкинских стихов в среде бунтовщиков (январь—июнь). Издатель первой книги поэта

П. А. Плетнев «Стихотворения Александра Пушкина» был вызван к П. В. Голенищеву-Кутузову, и ему был сделан выговор за переписку с Михайловским ссыльным (10—25 апреля). В ожидании ареста и следствия Пушкин уничтожил свои автобиографические заметки и «опасные» для него бумаги (апрель—август), но, стремясь вырваться на свободу, он составил «памятное письмо» о своей непринадлежности к тайным обществам (11 мая) и подал «челобитную» на имя императора (май—июнь).

Казнь пяти декабристов (13 июля) и подача поэтом прошения на высочайшее имя (19 июля) совпала с отъездом из Петербурга секретного агента А. К. Бошняка (20 июля), имевшего при себе «открытый лист» на случай ареста поэта.

Но по причине отсутствия «состава преступления» А. К. Бошняк 25 июля отпустил в Петербург взятого для иного поворота дел фельдъегеря Блинкова (Н. Тархова, т. 2, с. 160).

О времени замысла «апокрифической» строфы, кроме свидетельств Соболевского, Веневитинова, Шевырева, Погодина, Хомякова и Нащокина, есть еще один источник, неявно использованный М. А. Цявловским. Видимо, расхожее мнение о недостоверности, не позволило ученому указать его.

Зато Н. И. Черняев еще в 1898 г. цитировал воспоминания А. О. Смирновой-Россет В свои «Записки» она включила «рассказ» Пушкина о стихотворении «Пророк»: «Я как то ездил в монастырь Святые Горы, чтобы отслужить панихиду по Петре Великом. Служка попросил меня подождать в келье. На столе лежала открытая Библия, и я взглянул на страницы. Это был Иезекииль. Я прочел отрывок, который перефразировал в «Пророке»... Это было незадолго до того, как его величество вызвал меня в Москву...»¹⁸.

Конечно, при передаче прямой речи персонажа в мемуарах могут быть допущены те или иные отклонения от действительности, но в данном случае, независимо от степени подлинности «Записок», надо отметить две существенные детали: во-первых, страницы из книги пророка Пушкин читал в монастыре, а не в церкви; во-вторых, это было незадолго до вызова в Москву.

Отмечу, что в записках А. О. Смирновой-Россет указывается не царь («Петр Великий»), а «первоверховный» апостол Петр, чья память празднуется русской церковью 29 июня/12 июля, а память пророка Иезекииля — 21 июля / 3 августа.

Напомню, что 24 июля 1826 г. А. К. Бошняк остановился «в монастырской слободе в Святых Горах» у И. Н. Столярова, который

¹⁸ Цит. по: Н. И. Черняев. «Пророк» Пушкина, *ibid.*, с. 39—40. Ср.: А. О. Смирнова-Россет. Записки. М., 2003, с. 317.

рассказал, что Пушкин «обыкновенно приходит в монастырь по воскресеньям»¹⁹.

Таким образом, в период с 29 июня по 21 июля Пушкин, видимо, и посетил Святогорский монастырь в одно из воскресений (4, 11 или 18 июля). Следовательно, «в течение нескольких дней», по крайней мере, после 18 июля, Пушкин «встал ночью» и «написал свое стихотворение»²⁰.

Исходя из напечатанного текста «Пророка», и мемуаристы, и все пушкинисты принимали «апокрифические» строки за «концовку».

Но в *процессе* написания художник может фиксировать сложившиеся строки в *любой* последовательности, и какое место займет тот или иной фрагмент в тексте — дело самого художника.

Поэтому нельзя исключить и тот вариант, что первыми могли появиться «повелительные» строки, но без «заветного вензеля»²¹, дешифрованного М. А. Цявловским как «К <у<бийце?> г<нусному?>». А без этого «вензеля» дошедшие до нас в *неавторской* передаче строки не содержали никакой привязки к 24 июля 1826 г.:

Восстань, восстань, пророк России!
Позорной ризой облекись,
Иди, и с вервием на выи и пр.²²

Но в таком виде эти строки *не могли быть конечными*, о чем свидетельствуют контекстные образы седьмого стихотворения из «Подражаний Корану» («Восстань, боязливый...» 1824), и начальная строка стихотворения «Восстань, о Греция, восстань...» (1829).

Зато в качестве преамбулы «апокрифическая» строфа позволяет предполагать «возможные сюжеты» стихотворения: в ожидании наказания произносилась резкая отповедь «убийце гнусному» или же звучала просьба о помиловании.

Первое было невозможным, второе — унижительным. Ни тот, ни другой вариант для Пушкина был неприемлем.

К тому же, судя по воспоминаниям А. О. Смирновой-Россет, ориентированность на книгу Иезекииля была первичной. Именно поэтому «апокрифическая» строфа не могла появиться в качестве сюжетной концовки появившегося в печати стихотворения «по книге Исайи». Но, если контекстные образы обуславливали *начальный* характер «апокрифической» строфы, то о подтекстных образах знал

¹⁹ Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, *ibid.*, т. 2, с. 159.

²⁰ Цит. по: Н. И. Черняев. «Пророк» Пушкина, *ibid.*, с. 39.

²¹ См.: В. Листов. Заветный вензель «У» да «Г», *ibid.*

²² В. В. Вересаев. Пушкин в жизни, *ibid.*, с. 30.

только сам Пушкин²³, ибо временная сближенность замысла стихотворения с «Подражаниями Корану» могла бы продуцировать коранические аллюзии, а славянизмы («позорны ризы» и «с вервием на выи») — библейские. Во втором случае в сюжетное действие, несомненно, должны были включаться подтекстные образы книги Иезекииля, поскольку из трех великих иудейских пророков только один Иезекииль был уведен в Вавилон как пленник²⁴ (Исайя, спрятавшийся в дереве, был распилен и «кровь пророка брызнула далеко»²⁵, а Иеремия, бежавший от плена в Египет, — «побит камнями своими собратьями и похоронен в Египте»²⁶).

Н. И. Черняев в свое время не придавал значения смене «признавательных показаний»: «Иезекииля я читал раньше; но на этот раз текст мне показался дивно прекрасным, и я думаю, что лучше его понял. Так всегда бывает со Священным Писанием...»²⁷.

И все-таки Н. И. Черняев, справедливо считая, что «в книге пророка Иезекииля нельзя найти ни одного эпизода, который бы совпал... или... напоминал бы его», пришел к *ложному* заключению: «Очевидно... вопреки своему первоначальному замыслу, придавал своему пророку черты Магомета»²⁸. Однако этот переход в рассказе Пушкина (по записи А. О. Смирновой-Россет) от книги Иезекииля ко всему Священному Писанию, кажется, как раз и свидетельствовал о том, что Пушкин, размышляя в течение нескольких дней о книге Иезекииля, не мог не вспомнить других пророков и пришел к изменению подтекстных образов. Подтекстное движение замысла от книги Иезекииля к книге Исайи — атрибутирует «апокрифическую» строфу в качестве *первоначального «черновика»*, хотя в контексте *впоследствии* написанного стихотворения «Пророк» она не имеет никакого смысла.

По сути дела, присвоенный с конца декабря 1825 года до марта 1826 «титул» пророка, эпитафия из Проперция «*Aetas prima sanat Veneras, extrema tumultus*» («В раннем возрасте воспевается любовь, а в позднейшем — смятение») и цикл «Подражания Корану», помещенный в конце книги и предполагавший знакомство русского читателя с новым Пушкиным, — были в то же время и контекстуаль-

²³ Б. Коплан. К стихотворению «Пророк». IN: Пушкинский сборник памяти профессора С. А. Венгерова. М.—Пг., 1923, с. 326.

²⁴ Еврейская энциклопедия, *ibid.*, т. VIII, стлб. 570.

²⁵ Еврейская энциклопедия, *ibid.*, т. VIII, стлб. 319.

²⁶ Еврейская энциклопедия, *ibid.*, т. VIII, стлб. 618.

²⁷ Цит. по: Н. И. Черняев. «Пророк» Пушкина, *ibid.*, с. 39.

²⁸ Н. И. Черняев. «Пророк» Пушкина, *ibid.*, с. 40.

но-вероятностными причинами изменения в июле замысла, начатого до казни декабристов стихотворения.

После чтения в монастыре Иезекииля Пушкин, конечно, мог сочинить «апокрифический» фрагмент, но впоследствии должен был отказаться от продолжения работы над замыслом по «неприличностям» и решил воспользоваться книгой другого великого пророка.

А. О. Смирнова-Россет в своих «Записках» перед «признательными показаниями» Пушкина процитировала его: «Я читал Библию от доски до доски в Михайловском»²⁹.

С этим согласуется и тот факт, что Пушкин еще в ноябре 1824 года просил брата: «Библию, библию! и французскую непременно» (т. XIII, с. 123).

Поэтому замечания, высказанные о первичном замысле «Восстань, восстань, пророк России» в отношении к написанному стихотворению, позволяют дать ответ и на второй вопрос о соотношении номинации «Великой скорбию томим» по списку 1827 г. (излишне политизированной И. З. Сурат) и первой строки стихотворения «Пророк», напечатанного в 1828 г. («Духовной жаждою томим»).

Оснований для именно такого выбора именно шестой главы из книги Исаяи в качестве подтекста для своего «пророческого» стихотворения у опального поэта до казни пяти декабристов было предостаточно.

Можно согласиться с Б. Копланом, что «Пророк» — не простое «заимствование или переложение Библейских стихов», но стоит «в органической связи с пушкинской теорией творчества» и с тем, что «такое воззрение... очевидно сложилось под значительным влиянием вдумчивого чтения таких книг, как Библия...»³⁰.

Но в распоряжении Пушкина не было ни старославянской Библии, ни русской, а только французская (в его библиотеке сохранились два издания).

Следовательно, зрительная память не могла подсказать Пушкину старославянскую лексику. Именно этим обстоятельством воспользовались критики Б. Коплана.

Однако им следовало бы помнить, что отдельные стихи из шестой главы книги Исаяи читаются на вечерних службах в декабре, а вот вся шестая глава без последнего тринадцатого стиха — «на праздник Сретения Господня (2 февраля — непереходящая дата) и в четверг второй седмицы Великого Поста» (по календарю 1826 г. эта седмица выпадала на 11 марта).

²⁹ Цит. по: Н. И. Черняев. «Пророк» Пушкина, *ibid.*, с. 39.

³⁰ Б. Коплан. К стихотворению «Пророк», *ibid.*, с. 327.

Может быть, сам титул «пророка» в письмах к Плетневу в декабре 1825 г. и в феврале — марте 1826 г. был вызван как раз слушанием церковных паримий. При этом Пушкин, скорее всего, использовал не столько французский текст, сколько то, что им было *услышано* на паримийных чтениях в церкви (вспомните старославянские строки из молебного канона «Песни песней», лежащие в основе его подражания «В крови горит огонь желанья»).

«Акустическое» влияние на генезис второго варианта стихотворения можно подкрепить рядом замечаний.

О следовании Пушкина старославянскому тексту шестой главы книги Исая свидетельствует лексика (в стихотворении «Пророк» на каждые две строки приходится хотя бы один славянизм) и выборка текста — на паримийных чтениях эта глава заканчивается на 12 стихе, а 13 *никогда не читается*).

Если бы Пушкин следовал французской библии, то он бы закончил стихотворение не на приказе бога («Встань, пророк...»), а на пророчестве³¹, которое после 14 декабря само по себе было «каторжным».

Вот почему 13 стих шестой главы Исая, *не читаемый на паримиях*, является свидетельством «акустического» генезиса старо-славянских стихотворений.

Более того, именно в силу того, что концовка шестой главы книги Исая была хорошо известна богомольным А. С. Хомякову и П. С. Шевыреву, их «глухое» упоминание о «возмутительных» стихах отнюдь не лишено было достоверности, конечно, при условии, что и Пушкин включал их (по французской Библии) в подтекст «Пророка»: «И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена; но как от теревинфа и как от дуба, когда они и срублены, *остается* корень их, так святое семя *будет* корнем ее»

³¹ Как известно, православные паримии следовали святоотеческим традициям цитирования. Достаточно вспомнить речь Философа из «Повести временных лет», чтобы стало понятно, каким образом *только Израилю* было отказано в будущем: «Бог разгневался на Израиля... и стал посылать пророков, говоря им: «Пророчествуйте об отвержении евреев и о призвании новых народов»... Иезекииль же сказал: «Так говорит господь Адоиаи...: «Рассею вас, и весь остаток ваш развею по всем ветрам... За то, что осквернили святилище мое всеми мерзостями вашими; я же отрину тебя... и не помилую тебя»... Исая же великий сказал: «Так говорит господь: «Простру руку свою на тебя, сгною и рассею тебя, и вновь не соберу тебя». И еще сказал тот же пророк: «Возненавидел я праздники и новомесячные ваши, и суббот ваших не принимаю» (см.: Памятники литературы Древней Руси. XI — начало XII века. М., 1978, с. 115). Но у всех пророков после провозглашения «кары Господней» обязательно следуют стихи о прощении и восстановлении Израиля. Для «новых людей» (христиан) это как раз и было неприемлемым. Поэтому ни в письменных памятниках Древней Руси, ни в служебных паримиях никогда не упоминалось о будущем обетовании Израиля.

(Ис. 6, 13). Однако, в июле 1826 г., думается, 13 стих остался за пределами художественного текста.

Кажется, воспоминания П. С. Шевырева (в записи, возможно, Н. В. Берга) как раз и сохранили «взрывоопасную» ситуацию: «Во время коронации государь послал за Пушкиным нарочного курьера (обо всем этом сам Пушкин рассказывал) везти его немедленно в Москву. Пушкин перед тем писал какое-то сочинение в возмутительном духе... между тем известно, какой прием сделал ему великодушный император; тотчас после этого Пушкин уничтожил свое возмутительное сочинение и более не поминал о нем»³².

Не трудно увидеть, насколько этот рассказ отличается от «детализированных» воспоминаний остальных свидетелей. П. С. Шевырев не знал ни названия «сочинения в возмутительном духе», ни о чем оно было и на какую тему написано. А вот один из свидетелей, причастных к мифу о «первичной» концовке стихотворения, А. С. Хомяков, возможно, знал «тайну» тринадцатого стиха и поэтому в письме к И. С. Аксакову вполне серьезно отметил: «Пророк» — бесспорно, великолепнейшее произведение русской поэзии — получил свое значение, как вы знаете, по милости цензуры (смешно, а правда)»³³.

Действительно, «устный» паримийный подтекст (первые двенадцать стихов шестой главы книги Исаяи) стихотворения «Пророк» был дозволителен только при *неупоминании 13 стиха*, абсолютно «возмутительного» в отношении «злосчастливого заговора».

В 1923 г. Б. И. Коплан не возражал Н. О. Лернеру по поводу его интерпретации пушкинского стихотворения: «Отождествление пророка с поэтом... косвенно усиливает значение тех толкований «Пророка»... которые объясняют эту пьесу, как исповедание призвания поэта»³⁴. Н. О. Лернер считал, что Пушкин позаимствовал из Исаяи только одно «прилагательное «шестикрылый» и горящий уголь в руке Серафима».

Б. И. Коплан предложил сравнить строки стихотворения с текстом шестой главы книги Исаяи, отметив места, совпадающие иногда по смыслу текстуально³⁵.

Эти параллели надо дополнить тем, что в книге Исаяи рассказано всего-навсего об одном символическом действии серафима. Пуш-

³² Цитирую по: Л. Майков. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899, с. 329.

³³ Цит. по: В. В. Вересаев. Пушкин в жизни, *ibid.*, с. 31.

³⁴ Н. О. Лернер. «Восстань, восстань, пророк России...»: Стихотворение Пушкина. IN: Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып. 13. СПб., 1910, См.: Н. О. Лернер. «Восстань, восстань, пророк России...», *ibid.*, с. 29.

³⁵ Б. Коплан. К стихотворению «Пророк», *ibid.*, с. 327–328.

кин домыслил и дополнил рассказанное, придав ему значение художественной истины: «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих и сказал...» (Ис. 6, 6—7). *Одну* замену Пушкин трансформировал в ряд «операций» над зеницами, ушами, языком и сердцем.

При этом в каждом отдельном случае «оперативного обновления» он тут же давал результат и сообщал о замене: «моих зениц коснулся он — отверзлись вещи зеницы», «моих ушей коснулся он — и их наполнил шум и звон», «к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык — и жало... вложил», «грудь рассек... и сердце вынул — уголь... водвинул».

И все-таки само по себе «оперативное обновление» ничем, кроме смерти (или ее подобия), закончиться не могло: «Как труп... лежал».

Нужна была еще трансцендентальная сила, возвращающая к жизни.

Ею в стихотворении является Творец.

Фактически, целиком реконструировав библейскую ситуацию, Пушкин задал условие («Великой скорбию томим» / «Духовной жаждою томим» и «влачился») и рассказал о трансформациях органов чувств (зеницы и уши) и мысли (уста и сердце).

Затем в строгом соответствии с библейскими установками предопределил лежащему «как труп» субъекту текста стихотворения повеление Творца:

И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей»

Но между рецепциями новых органов чувств («И виждь, и внемли») и действием («обходя моря и земли») Пушкин вставил важнейшее качество, определяющее пророка: «Исполнись волею моей». А затем, благодаря концовке («Глаголом жги...»), текст приобрел обобщенный характер.

Впрочем, такое пушкинское толкование строго соответствовало религиозному понятию «пророк», ибо он должен был выступать не от своего имени, а от имени Всевышнего.

Если принять подтекстные образы известной Пушкину концовки шестой главы (по французской Библии) и многократно слышанные им на паримиях первые двенадцать стихов старо-славянского текста, становится очевидным, что номинация стихотворения по

списку 1827 г. («Великой скорбию томим») является *первичным текстом* начала «Пророка».

Об этом писала И. З. Сурат, указывая о «ранней редакции первой строки «Великой скорбию томим»... в списке, составленном весной-летом 1827 года для нового собрания лирики...»³⁶, однако начальная строка, по моему мнению, никакого отношения не имела к казни пяти декабристов.

Широко распространенным среди романтиков представлениям об «избранности» художника, его «жреческой» функции и провидчества, Пушкин противопоставил христианскую традицию, по которой пророки должны были быть при «устах Божьих», как Аарон при «устах Моисея»

Свое стихотворение Пушкин строго соотнес не с романтической традицией, а с церковной: «Если пророки должны были возвещать людям получаемые ими от Бога откровения, то, очевидно, Бог входил с ними в тесное внутреннее общение. Он должен был говорить с ними и они — с Богом... Если пророки... выступают как учителя и руководители своего народа, то они высказывают не свои собственные убеждения и мысли, а то, что они слышали от Бога. Они и сами ясно сознавали, что чрез них говорит именно Бог»³⁷.

Быть пророком означало не только изменение *индивидуальных и личностных свойств*, но еще при этом и потерю *собственной воли*.

Кажется, ни один художник не смог бы согласиться с этим и не готов был бы принять это.

Вот почему распространенное отождествление пророка с поэтом не только *ложное*, но и *антипушкинское*.

При сравнении «Пророка» со стихотворениями «Поэт» (1827), «Поэт и толпа» (1828) и «Поэту» (1830) эта *принципиальная разница* между созданным Пушкиным образом *пророка* и его же образами *поэтов* становится очевидной.

Итак, вне какой-либо связи с казнью пяти декабристов, о которой Пушкин узнал 24 июля, и его приездом в Москву 6 сентября 1826 г., Пушкин (до, но не позднее, 24 июля) после посещения Святогорского монастыря задумал написать по книге Иезекииля одно стихотворение, от которого до нас дошли первые четыре строки («Восстань, восстань, пророк России...»).

Затем, осмыслив их «неприличие», он изменил подтекстный образ, и на основе услышанных прежде на паримиях стихах из книги Исайи до приезда в Москву написал черновик стихотворения. Пер-

³⁶ И. Сурат. «Твое пророческое слово...», *ibid.*, с. 238.

³⁷ Толковая Библия, *ibid.*, т. 2, с. 234.

вую строку «Великой скорбию томим», по которой Пушкин занес стихотворение в список пьес 1827 г., он, готовя «Пророка» к печати в 1828 г., вполне обоснованно после «злосчастного заговора» переделал в «Духовной жаждою томим».

Несомненно, стихотворный опыт «Пророка» с точной дефиницией «уст Божьих» стал для Пушкина основным при разработке определений литературного демиурга субъекта текста — поэта.

«В заботах суетного света...»

15 августа 1827 г. на л. 39 в ПД 833 Пушкин закончил черновик стихотворения [«Поэт»], и уже во второй половине августа («не позднее 30» — т. XIII, с. 337) оно было послано в письме к М. П. Погодину.

В комментариях к этому письму Б. Л. Модзалевский отметил: «Стихотворение Пушкина было названо в редакции «Московского Вестника» «Поэт» и появилось в этом журнале за подписью Пушкина, в № 23 стр. 255—256, вышедшем в свет около 10 декабря 1827 года» (Письма, т. II, с. 257).

Черновик стихотворения интересен по ряду причин:

[На службу Музы]

Пока не требует поэта
къ великой жертве Аполл<он>

Строки справа были написаны после того, как появилось впоследствии зачеркнутое начало:

Пока свободного поэта
Не вызывает Аполлонъ

Затем Пушкин написал продолжение:

И, видимо, сразу же стал править. Строки — «Его [заброшенная] лира» была заменена на строку: «Молчит его святая лира», а «Вкушает [беспокойно] сон» — на «Душа вкушает хладный сон». Однако, следует сказать, что еще до правки этих строк черновик был двух-частным:

*И между детей ничтожных мира
 Быть может, всех ничтожней он
 Но лишь восторженней оного
 Душею от таинк касатель*

При этом продолжение было записано сразу набело:

*Но лишь восторженней оного
 Душею от таинк касатель
 Душа молчит касатель
 Кем непугавшимся орд:*

Зато последующие четыре строки вызвали у Пушкина сомнение в их необходимости, вплоть до отказа от них:

*Молчит как в восторженней лира
~~Молчит как в восторженней лира~~
 Кем непугавшимся орд
 Молчит как в восторженней лира
 Молчит как в восторженней лира*

Эти строки, по всей вероятности, показались Пушкину похожими на строки в первой части:

Его [заброшенная] лира
 Вкушает [беспокойно] сон
 И меж детей ничтожных мира
 Быть может всех ничтожней он (т. III/1, с. 599).

Однако в письме к Погодину эти строки Пушкин восстановил. По сути дела, черновик на л. 39 в ПД 833 сохранил чрезвычайно важную информацию по истории текста и об организации стихотворения:

~~1) Бежит он дикой и суровый~~
~~и пугливой лирою своей~~
~~В широкошумные дубровы~~
~~В глухую тишину полей~~
 1) Бежит он дикой и суровый
 и пугливой лирою своей
 В широкошумные дубровы
 В глухую тишину полей

Во-первых, это относится к исходному противопоставлению второй части первой, которое было подчеркнуто противительным союзом «но» и сменой типа рифмовки — перекрестная (АБАБ) трансформировалась в опоясывающую (АББА).

Во-вторых, произошла смена начальной рифмы — с женской на мужскую («поэта»: «глагол»).

Во-третьих, ритмико-рифмическое сходство строф в обеих частях, закрепленное и в лексико-семантическом строе («вкушает... сон...» — «Тоскует...»), смягчая конфликт противопоставленности («Но лишь...»), тем не менее требует его разрешения, которое завершается в последних четырех строках³⁸. Черновик был опубликован в таком виде:

Бежит он дикой и суровый
 С пугливой лирою своей
 В широкошумные дубровы
 В глухую тишину полей (т. III/1, с. 599).

Вряд ли стоит говорить о том, что эпитет «пугливой» при «лирою своей», видимо, появился в редакторской реконструкции черновика благодаря «контекстному» образу из послания к В. Л. Пушкину (1817), где «заключается намек» на известную 7-ю горацянскую оду из II книги (которую впоследствии Пушкин переводил) о позорном бегстве с поля сражения при Филиппах:

Они <т. е. гусары> живут в своих шатрах
 Вдали забав и нег и Граций,
 Как жил бессмертный трус Гораций
 В Тибурских сумрачных лесах»³⁹.

³⁸ Е. Г. Эткинд. Божественный глагол. М., 1999, с. 301.

«Контекстный» образ («трус Гораций» — «пугливая лира») имел дополнительное обоснование: письмо к М. П. Погодину заканчивалось латинским «прощай»: «Я убежал в деревню, почуя рифмы... Назовите эти стихи да и тисните. Vale» (т. XIII, с. 340).

И все же, как это нередко бывает, использование только одного «контекстного» образа без множества других приводит к неточностям. «Ложная» ассоциация словосочетания «пугливой лирой» с «трусостью» Горация из юношеских стихов, навязанная черновику 1827 г., не может быть принята, хотя бы потому, что, как указал М. М. Покровский, перевод 7-ой оды «был использован для этюда [«Цезарь путешествовал»], где «дана замечательная характеристика Горация, делающая честь исторической прозорливости Пушкина»⁴⁰.

В этом рукописном замысле Петроний говорит: «Когда читаю подобные стихотворения... мне всегда любопытно знать, как умерли те, которые так сильно поражены были мыслию о смерти. Анакреон уверяет, что Тартар его ужасает, но не верю ему, также как не верю трусости Горация. Вы знаете оду его:

Кто из богов мне возвратил
Того, с кем первые походы
И браней ужас я делил,
Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил?
.....
Ты помнишь час ужасной битвы,
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно бросив щит,
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся! как бежал!..

...Хитрый стихотворец хотел рассмешить Августа и Мecenата своею трусостью, чтоб не напомнить им о сподвижнике Кассия и Брута» (т. VIII/2, с. 389—390).

М. М. Покровский так прокомментировал приведенный фрагмент: «Пушкин взглянул на дело глубже новейших ученых комментаторов Горация, которые обыкновенно не ставят вопроса о том, был ли Гораций действительно трусом, но ограничиваются цитированием параллельных мест из Архилоха, Алкея и Анакреона о том, как они бежали, бросив щит, или из самого Горация, где он, чем дальше,

³⁹ М. М. Покровский. Пушкин и античность. IN: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.—Л., 1939, [Вып.] 4/5, с. 45.

⁴⁰ М. М. Покровский. Пушкин и античность, *ibid.*, с. 49.

тем более, подчеркивает свою невоинственность и невольное участие в гражданской войне и вместе с тем слишком возвеличивает героичество Августа...»⁴¹.

Видимо, слово «пугливой» в черновике Пушкина следует читать иначе, тем более что в автографе середина этого зачеркнутого эпитета не соответствует прочтению, и, видимо, он мыслился автору иначе:



Но дело не только в коррекции черновика. Стихотворение, посланное М. П. Погодину, было написано *после* «Пророка», а опубликовано *раньше* его⁴². Так что *читатель*, познакомившись сперва с «Поэтом» Пушкина, не мог не почувствовать его отличие от «Пророка»: поэт может пророчествовать, но пророк не обязательно должен быть поэтом. Та межа, которая разделяла эти понятия (свободное словоизъявление личности и покорность Божьему «слову»), — требует от нас, вне всякого сомнения, не только сопоставления, но и противопоставления. Более того, в ритмико-рифмической организации стихотворений были заданы и некоторые дифференциальные признаки смысловых дефиниций этих понятий.

С одной стороны, при одинаковости четырехстопного ямба в обоих стихотворениях, «Пророк» начинался строкой с мужской рифмой («Духовной жаждою томим»), а «Поэт» — с женской («Пока не требует поэта»). При этом смена типов рифмовок в «Пророке» и в «Поэте» (перекрестная — смежная — опоясывающая — перекрестная) не столько «украшало» ритмическую организацию, сколько по разному наполнялась смысловыми предназначениями.

Однако эта смена в «Пророке» была вызвана отнюдь не обстоятельствами «операций» над органами чувств, в то время как в «Поэте» перекрестная рифма определяет исходное состояние, а опоясывающая (первые и последние четыре стиха) во второй части (внутри которой присутствуют четыре строки в качестве «остаточного» признака первого периода «Тоскует он в забавах мира...») его изменение.

⁴¹ М. М. Покровский. Пушкин и античность, *ibid.*, с. 49

⁴² Ср.: Н. О. Лернер. Примечания к стихотворениям 1827 г. IN: Пушкин, (Брокгауз), т. IV, с. ХLI—ХLIII. Н. О. Лернер, объединяя оба стихотворения в некое одно целое, утверждал зависимость «Поэта» от «Пророка»: «Пушкин... уже сознал в себе и во всяком истинном поэте пророка... поэт уже стал в его глазах «божественным посланником», «небес избранныком» («Чернь»), как и подобает называть того, кто преобразованный десницей архангела, служит орудием Божьей воли...» и т. д.

Некогда в своих лекциях на факультете повышения квалификации в 1969 г. Е. Г. Эткинд говорил о том, что в «Евгении Онегине» на строке «Блистательна, полувоздушна», в которой присутствуют только два ударения, как на «двух гвоздиках, подвешена движущаяся «словесная картина» балета.

В 1999 г. в книге «Божественный глагол» Е. Г. Эткинд дал экспрессивное описание этого эпизода: «Балерина стоит посреди сцены, стоит неподвижно и непостижимо, «одной ногой касаясь пола...» Уже в этом стихе слышится какое-то ритмичное, равномерное движение — так здесь распределены ударения четырехстопного ямба:

Од-ной но-гой ка-са-ясь по-ла...

О самом же этом движении будет сказано только в следующем стихе:

Другую медленно кружит...

Наречие медленно выделено ритмически — на это слово приходится пиррихий:

/ / ~ ~ ~ /
- - - - -

...Медленно становится еще медленнее от того, что этой строке предшествует фраза с деепричастием («касясь»), а еще раньше — длинная фраза, в которой несколько неторопливых определений стоят перед сказуемым и подлежащим («...стоит Истомина»)»⁴³.

Ритмическое однообразие второго и четвертого катренов при одном и том же типе рифмовки да еще и с участием одинаковой женской рифмы (-ира:) в равной мере соответствует смыслу «Молчит... хладный сон...» — «Тоскует...». Столь же очевидно и «сложение» рифмующихся фонем из первого и второго катренов — он/ён («Аполлон/погружен» — «сон/он») с -ол/ёл («глагол/орел»): рифма в третьем катрене (в последних четырех стихах) при смежных строках выглядит суммирующей: -О-Л-Н («полн/волн»). Так же очевидно (в зависимости от чтения неявного спондея: «Бежѣт он») «замедление» с дальнейшим «убыстрением» за счет увеличения количества пиррихий с тенденцией их смещения с третьей стопы на вторую, со второй на первую («дѣкий и сурѣвый — и звѣков и смятѣнья — на берега») и последующим изображением «бега» в последней строке — «В широкошѣмные дубрѣвы...».

⁴³ Е. Г. Эткинд. Божественный глагол, *ibid.*, с. 221.

В отличие от традиционных справочников и пособий по изучению поэзии Пушкина⁴⁴, глубокие исследования «семантического ореола»⁴⁵ и рассмотрение его с семиотической точки зрения⁴⁶ позволяют мне предложить такую смысловую интерпретацию ритмико-рифмической организации пушкинского стихотворения.

Таким образом, за счет системной организации стихотворения «Поэт» Пушкин придал глаголу «бежит» ритмически-конкретный образ этой идеи⁴⁷.

Эта идея оказывается прямопротивоположна концовке «Пророка» — *поэт бежит от суетного мира людей, а пророк, «...обходя моря и земли», обязан из «пустыни мрачной» вернуться в мир, чтобы жечь «сердца людей»*. К сожалению, увлеченный поэтикой симметрии, Е. Г. Эткинд пришел к странному выводу: «Чем энергичнее выделен центр стихотворения, тем ярче выступает его симметрическая композиция, а также, разумеется, противопоставление обоих состояний человека. Это противопоставление в свою очередь усилено введением дополнительного мотива: трагического одиночества, на которое обречен поэт (человек с пробудившейся душой), в отличие от бессмысленного существования светского человека (чья «душа вкушает холодный сон»), погруженного в «заботы» и «забавы», то есть в пустые развлечения»⁴⁸. Этот вывод был бы справедлив, если бы не существовало окончания стихотворения, которое не только не вписывается в «симметрию», но и разрушает ее.

Столь же неточно сказано и о «столкновении противоположных стилей»: «К светскому облику героя относятся прозаические слова и обороты разговорной речи; в заботах суетного света, малодушно, всех ничтожней, в забавах... Ко второй его ипостаси — торжественные выражения и славянизмы: к священной жертве, святая лира, холодный сон, божественный глагол, душа... вострепнется, как пробудившийся орел, широкошумные дубровы. Однако эти два стиля между собой перемешаны. Стилистическая чересполосица способ-

⁴⁴ См., например: Н. В. Лапшина, И. К. Романович, Б. И. Ярхо. Метрический справочник к стихотворениям А. С. Пушкина. М. — Л., Academia, 1934.

⁴⁵ См.: К. Ф. Тарановский. О взаимодействии стихотворного ритма и тематики. IN: American Contributions to the 5th International Congress of Slavists. The Hague, 1963, vol. I, pp. 287—322; М. Л. Гаспаров. Метр и смысл. Об одном из механизмов культурной памяти. М., 1999.

⁴⁶ См.: Ю. И. Левин. Семантический ореол метра с семиотической точки зрения. IN: Finitis XII lustris (Сборник статей к 60-летию Ю. М. Лотмана). Tallinn, 1982, с. 151—154.

⁴⁷ Е. Г. Эткинд. Божественный глагол, *ibid.*, с. 222.

⁴⁸ Е. Г. Эткинд. Божественный глагол, *ibid.*, с. 301.

ствует тому, что метрический костяк стихотворения... не бросается в глаза и остается не замеченной читателем»⁴⁹.

Но «стилистическая чересполосица» — естественный признак любого говорения и, как «феномен», она присутствует только в лингвистическом описании «материала». Этим-то и отличается от него литературоведческое описание стиля, поскольку оно обязано объяснять не отдельные единицы, а их взаимодействие в системе текста. Между примерами «разговорной речи» и «торжественными выражениями и славянизмами» нет не только взаимоотталкивания, но и взаимоисключения именно в силу того, что поэт представлен как один и тот же субъект текста в двух его ипостасях. Нельзя не отметить и то, что глагол «бежит» не имеет никакого отношения ни к душе поэта, ни к его рецепциям и ощущениям.

Более того, концовка указывает на изменение обстоятельств («Пока не требует поэта... Но лишь...» — «Бежит...»). В этом смысле достаточно сравнить «Поэт» с такими стихотворениями как «Я пришел к тебе с приветом...» (1843) А. А. Фета или «Превратила все в шутку сначала...» (29 февраля 1916) А. А. Блока, которые, кажется, включают пушкинское стихотворение в качестве своих подтекстных образов, чтобы должным образом оценить «нулевую» концовку Пушкина. Действительно, субъект текста Фета вдохновенно рассказывает (в каждой строфе присутствует этот глагол):

Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришел я снова,
Что душа все так же счастью
И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду
Петь, — но только песня зреет.

⁴⁹ Е. Г. Эткинд. Божественный глагол, *ibid.*, с. 301.

Несомненно, что столь «настырное» повторение глагола «рассказать» (нарративность и прозаичность которого очевидна) обуславливает поэтическое действие «буду ПЕТЬ». При этом созревание песни непосредственно связано с завершающими каждый катрен строками («...горячим светом По листам затрепетало» — «...лес проснулся, Весь проснулся... И весенней полон жаждой» — «Что душа... счастью И тебе служить готова» — «...отовсюду На меня весельем веет...»), которые из «прозаического ряда» (рассказывания) будут переведены в «поэтический ряд» ПЕСНИ.

По сути дела, субъект текста стихотворения Фета предлагает читателю обязательные условия модели своего творчества: если «солнце встало», «лес проснулся», «душа... с той же страстью... служить готова», «отовсюду... весельем веет».

В сравнении с пушкинским стихотворение Фета задает такую конкретику чувств, при которой незнание того, «Что... буду Петь», оборачивается утвердительной констатацией: «...но только песня зреет». Поэтому союз «но», появляющийся в последней строке, соотносим не с рассказанным, а лишь с незнанием конечного результата, в то время как у Пушкина условия творчества обобщенно-абстрактны («бежит..», «на берега...», «в... дубровы») и появление конечного результата «священной жертвы» только предполагается, однако не является обязательным.

А. А. Блок в своем стихотворении, подтекстами которого, по всей вероятности, были и пушкинский «Поэт», и фетовский этюд, задает ситуацию творчества по-иному:

Превратила всё в шутку сначала,
Поняла — принялась укорять,
Головою красивой качала,
Стала слезы платком вытирать.
И, зубами дразня, хохотала,
Неожиданно всё позабыв.
Вдруг припомнила всё — зарыдала,
Десять шпилек на стол уронив.
Подурнела, пошла, обернулась,
Ворогилась, чего-то ждала,
Проклинала, спиной повернулась,
И, должно быть, навеки ушла...
Что ж, пора приниматься за дело,
За старинное дело свое.
Неужели и жизнь отшумела,
Отшумела, как платье твое?

В двенадцати строках субъект текста описывает психологическую ситуацию ссоры: («Превратила все в шутку сначала... должно быть, навеки ушла»), которая и определяет концовку. Поэтому, если возможно установить некое художественное подобие пушкинского образа действия после глагольного ряда (не требует, молчит, вкушает, быть может, коснется, встрепенется, тоскует, не клонит) и художественного образа действия блоковского субъекта ссоры, то вполне вероятно, что весь глагольный ряд стихотворения Блока (превратила, поняла, принялась укорять, качала, стала вытирать, хохотала, припомнила, зарыдала, подурнела, пошла, обернулась, воротилась, ждала, проклинала, повернулась, ушла), продуцирует (как и у Пушкина «бежит») одно единственное действие субъекта текста: «Что ж, пора приниматься за дело».

В последней строфе субъект текста Блока *переоценивает* ситуацию с точки зрения своего «старинного дела».

При этом последние две строки как раз и являются демонстрацией поэтического «старинного дела», в которой объединяются ситуация ссоры и жизни двойным повторением глагола «отшумела» с присоединением к нему сравнительной конструкции «как платье твое».

Фактически, учитывая опыт Пушкина и Фета, Блок воспользовался первой частью стихотворения «Поэт» («Пока... В заботах суетного света... Быть может, всех ничтожней он») и reality-шоу Фета («Я пришел... Рассказать...»), которые трансформировал в свой рассказ о ссоре.

А затем, вслед за фетовской концовкой («песня зреет»), дал квинтэссенцию своего «старинного дела»:

Неужели и жизнь отшумела,
Отшумела, ка платье твое...

Так, в отличие от пушкинского «Поэта», где действие субъекта текста только *названо* («бежит»), и фетовского *незнания* (о чем буду петь) при четком ощущении (песня зреет), А. А. Блок задал двумя строчками *конкретику* своего «старинного дела».

Замечательно и то, что для всех трех стихотворений Пушкина, Фета и Блока нельзя никак выявить хоть какую-то связь с пророком и пророчеством.

Зато сема «поэт» в равной степени присутствует в них.